



Жан-Жак Руссо

Эмиль, или о воспитании

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18397944

Аннотация

«Эмиль, или О воспитании» – произведение известного французского философа и прозаика Жан-Жака Руссо (франц. Jean-Jacque Rousseau, 1712-1778). *** Этот величайший педагогический трактат содержит размышления и наблюдения автора о важности получения хорошего воспитания. Перу Руссо принадлежат произведения «Новая Элоиза, или Письма двух любовников», «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми, Сочиненное г. Ж. Ж. Руссо», «Руссовы письма о ботанике», «Семь писем к разным лицам о воспитании», «Философические уединенные прогулки Жан Жака Руссо, или Последняя его исповедь, писанная им самим», «Общественный договор», «Пигмалион» и стихотворение «Fortune, de qui la main couronne». Жан-Жак Руссо прославился как выдающийся деятель эпохи Просвещения и человек широкого кругозора. Его сочинения по философии, ботанике и музыке глубоко ценятся современниками во Франции и во всем мире.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	4
КНИГА ВТОРАЯ	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Жан-Жак Руссо

ЭМИЛЬ, ИЛИ О ВОСПИТАНИИ

КНИГА ПЕРВАЯ

Все хорошо, выходя из рук Творца мира; все вырождается в руках человека. Он заставляет почву питать несвойственные ей произведения, дерево – приносить несвойственные ему плоды. Он идет наперекор климатам, стихиям, временам года. Он уродует свою собаку, лошадь, своего раба. Он все ставит вверх дном, все искажает. Он любит безобразие, уродов, отворачивается от всего естественного, и даже самого человека надо выдрессировать для него, как манежную лошадь, не коверкать на его лад, подобно садовому дереву.

Иначе все пошло бы еще хуже. При настоящем порядке вещей, человек, с самого рождения предоставленный самому себе, был бы самым уродливым существом среди других людей. Предрассудки, авторитет, нужда, пример, все общественные учреждения, охватившие нас, заглушают в нем природу, и ничего не дадут взамен ее. С природой его было бы тоже, что бывает с деревцом, которое случайно вырастает среди дороги и которое прохожие скоро губят, задевая за него и заставляя гнуться на все стороны.

К тебе обращаюсь я, нежная и заботливая мать, сумевшая уклониться от большой дороги, и защитить молодое деревцо от столкновений с людскими мнениями. Лелей и поливай молодое растение, пока оно не завяло; плоды его будут современен твоею отрадою.

Первоначальное воспитание важнее других, и неоспоримо лежит на женщинах: если бы Творец вселенной желал предоставить его мужчинам, он наделил бы их молоком, для кормления детей. Поэтому в трактатах о воспитании надо обращаться преимущественно к женщинам: кроме того, что им сподручнее наблюдать за воспитанием, чем мужчинам, и что они всегда более влияют на него, но и успех дела им гораздо дороже, так как большинство вдов остаются в зависимости от своих детей, и тогда живо чувствуют хорошие и дурные последствия методы воспитания. Законы, которые всегда так много пекутся об имуществе и так мало о людях, потому что имеют целью спокойствие, а не добродетель, не дают достаточно власти матерям. Между тем, на них можно больше положиться, чем на отцов; обязанности их тяжелее; заботы необходимее для семьи. Впрочем, нужно объяснить, какой смысл я придаю слову мать, что и делается ниже.

Мы родимся слабыми, нам нужны силы; мы родимся лишенными всего, нам нужна помощь; мы родимся бессмысленными, нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении и в чем нуждаемся впоследствии, дается нам воспитанием.

Это воспитание дается нам или природою, или людьми, или внешними явлениями. Внутреннее развитие наших способностей и органов составляет воспитание природою; умение пользоваться этим развитием воспитывают в нас люди; а приобретение собственного опыта на основании воспринимаемых впечатлений составляет воспитание внешними явлениями. Следовательно, каждый из нас воспитывается тройкого рода учителями. Ученик, в котором различные уроки эти ведут вражду, воспитан дурно и никогда не будет в ладу с самим собою. Тот только, в ком они сходятся и идут к одним общим целям, воспитан хорошо и будет жить последовательно.

Между тем, из этих трех различных воспитаний, воспитание природою вовсе от нас не зависит; а воспитание внешними явлениями зависит только в известной мере. Воспитание людьми – единственное, которое действительно находится в нашей власти; да и тут власть наша сомнительна: кто может надеяться вполне управлять речами и поступками всех людей, окружающих ребенка?

Поэтому, как только воспитание делается искусством, удача его почти невозможна, ибо содействие, необходимое для успеха, не зависит в этом случае от людей. При больших усилиях можно более или менее приблизиться к цели; но для полного достижения ее нужно счастье.

Цель тут природа. Так как содействие трех воспитаний необходимо для совершенства целого, то очевидно, что согласно тому, на которое мы не имеем влияния, надо направлять оба другие. Но, может быть, слово природа имеет слишком неопределенный смысл; нужно попробовать определить его здесь.

Природа, говорят нам, есть не что иное, как привычка. Что это значит? Разве нет привычек, которые приобретаются только благодаря принуждению, и никогда не заглушают природы? Такова, например, привычка растений, которым препятствуют расти прямо. Растение, предоставленное самому себе, сохраняет положение, которое его принудили принять; но растительный сок не переменяет от того своего первоначального направления, и, если растение не перестает жить, продолжение его делается снова вертикальным. То же самое бывает и с людскими наклонностями. Пока мы остаемся в одном положении, мы можем сохранять наклонности, явившиеся вследствие привычки и вовсе несвойственные нам; но как скоро положение изменяется, привычка исчезает и природа берет верх. Воспитание, разумеется, есть не что иное, как привычка. Между тем, разве нет людей, у которых изглаживается и утрачивается воспитание, тогда как у других оно сохраняется? Откуда такое различие? Если название природы нужно ограничить привычками, согласующимися с природою, то не стоило и говорить подобной галиматии.

Мы родимся чувствительными, и с самого рождения окружающие предметы производят на нас различные впечатления. Как скоро мы начинаем, так сказать, сознавать наши ощущения, является расположение искать или избегать предметов, которые их производят.¹ Эта склонность развивается и укрепляется, по мере того, как мы становимся чувствительнее и просвещеннее; но, стесняемая нашими привычками, она более или менее изменяется, в зависимости от наших мнений. До такого изменения, склонности эти составляют то, что я называю в нас природой.²

Следовательно, нужно было бы все сводить к этим первоначальным склонностям, что было бы возможно, если бы три рода воспитания нашего были только различны: но что делать, когда они противоположны; когда вместо того, чтобы воспитывать человека для него самого, его хотят воспитывать для других? Тут согласие невозможно. Необходимость бороться или с природою, или с общественными учреждениями, заставляет сделать или человека, или гражданина, – так как того и другого вместе сделать нельзя.

Естественный человек, человек природы, весь заключается в самом себе; он есть численная единица, абсолютное целое, имеющее отношение только к самому себе, или к себе подобному. Гражданский же человек есть только дробная единица, зависящая от знаменателя, и значение которой заключается в ее отношении к целому, т. е. общественному организму. Хорошие общественные учреждения всего лучше изменяют человека, уничтожают в нем абсолютное существование, заменяют его относительным и переносят его Я на общую единицу; так что каждый частный человек не считает себя единицей, а только частью единицы, и чувствителен только в целом. Гражданин Рима не был ни Каем, ни Люцием: он был

¹ Руссо прибавляет, что это происходит «сначала по тому, приятны ли нам эти ощущения или неприятны, потом смотря по степени согласия или разлада между вами и этими предметами и, наконец, смотря по суждениям, которые мы составляем себе о них на основании понятий о счастье и совершенстве, порождаемых в нас разумом». – Понятно, что оба последние положения сводятся на первое, так как главным двигателем остается во всех случаях ощущение – все равно, порождается ли оно умственной или исключительно-чувственной стороной вашего организма.

² Читатель легко заметит всю шаткость этого определения. Как уловить тот момент, когда привычка и обстановка не начали еще действовать на наши склонности, в особенности если отнести наследственность к разряду привычек?

римлянином. Регул считал себя кареагенянином, и в качестве иностранца отказывался заседать в римском сенате: нужно было для этого приказание кареагенянина. Он негодовал на желание спасти его жизнь. Он победил, и, торжествующий, вернулся умирать в мучениях. Мне кажется, что все это мало похоже на людей, которых мы знаем.

Педеарет является в совет трехсот. Его не выбирают, и он уходит вполне счастливый, что в Спарте нашлось триста человек более достойных, нежели он.

Спартанка, мать пяти сыновей, ждет вестей с поля битвы. Является илот. Трепещущая, она обращается к нему за вестью: ваши пять сыновей убиты. Презренный раб, разве я тебя об этом спрашиваю? Мы выиграли сражение! Мать бежит в храм и приносит благодарение богам.

Это граждане!

Тот, кто при гражданском строе хочет дать первое место природным чувствам, сам не знает, чего хочет. В вечном противоречии с самим собою, в вечном колебании между своими наклонностями и обязанностями, он не будет ни человеком, ни гражданином, он будет негодным и для себя, и для других. Это будет один из людей нашего времени, француз, англичанин, буржуа, – т. е. ничего не будет.

Из этих двух необходимо противоположных целей проистекают два противоположных образа воспитания: один общественный и общий, другой частный и семейный.

Если хотите получить понятие об общественном воспитании, прочитайте «Республику» Платона. Это вовсе не политическое сочинение, как думают люди, судящие о книгах по заглавиям. Это прекраснейший из всех трактатов о воспитании.

Общественное воспитание не существует более, и не может существовать, потому что там, где нет больше отечества, не может быть и граждан. Эти два слова отечество и гражданин должны быть вычеркнуты из новейших языков.

Я не считаю воспитательными заведениями смешные учреждения, называемые colleges. Я не говорю также о светском воспитании, способном производить только людей двуличных, которые, по-видимому, все думают о других, а на деле думают только о себе.

Остается семейное или естественное воспитание; но чем будет для других человек, воспитанный единственно для самого себя? Если б можно было соединить в одно двойную цель, которой мы задаемся, то, уничтожив в человеке противоречия, мы уничтожили бы серьёзное препятствие к его счастью. Для суждения об этом, нужно было бы видеть его вполне развитым; надо было бы проследить его склонности, его успехи, его развитие; словом, нужно было бы ознакомиться с естественным человеком. Я надеюсь, что чтение этой книги несколько облегчит такое исследование.

В общественном строе, где все места определены, каждый должен быть воспитан для своего места. Если человек, воспитанный по своему званию, выходит из него, он становится ни на что негодным. Воспитание полезно настолько, насколько состояние родителей согласуется с их званием; во всех других случаях оно вредно для ученика, уже по одним предвзвешенным, которые вселяет в него. В Египте, где сын был обязан наследовать званию отца, воспитание имело, по крайней мере, верную цель; но у нас, где только классы остаются постоянными, а люди в них беспрерывно перемещаются, никто не может знать, что, подготавливая сына к своему званию, он не вредит ему.

При естественном строе, где все люди равны, общее для всех призвание – быть человеком, а кто хорошо воспитан для этого, тот не может дурно выполнять должностей, которые могут ему выпасть на долю. Пусть назначают моего воспитанника в военную службу, в духовное звание, в адвокаты, мне все равно. Природа, прежде всего, призывает его к человеческой жизни. Жить, вот ремесло, которому я хочу его научить. Выйдя из моих рук, он не будет, – сознаюсь в том, – ни судьей, ни солдатом, ни священником; он будет, прежде всего,

человеком, но, при случае, сумеет быть не хуже всякого другого всем, чем человек должен быть; и куда ни бросит его судьба, он везде будет на своем месте.

Настоящая наша наука заключается в изучении условий человеческой жизни. Тот из нас, кто лучше всех умеет переносить счастье и несчастье этой жизни, лучше всех воспитан, по-моему; из чего следует, что настоящее воспитание заключается больше в опытах, чем в правилах. Воспитание наше начинается с нашей жизнью; наш первый учитель – кормилица. Самое слово воспитание имело, у древних, иной смысл, которого мы ему больше не придаем; оно значило вскормленные. Следовательно, воспитание, обучение и образование – такие же различные вещи как нянька, наставник и учитель. Но эти различия дурно понимаются, и чтобы хорошо всегда вести ребенка, нужно дать ему одного только руководителя.

Итак, следует обобщить наши взгляды и видеть в воспитаннике отвлеченного человека, человека, подверженного всем случайностям жизни. Если б человек родился с уверенностью никогда не покидать родной страны; если б времена года не менялись; если б состояние его было навсегда обеспечено, настоящий порядок был бы, в известных отношениях, хорош. Но, при изменчивости людских положений, при тревожном и беспокойном духе нашего века, который, при каждом новом поколении, переворачивает все вверх дном, можно ли придумать более безумную методу, как та, благодаря которой воспитывают ребенка так, как будто ему предстоит никогда не выходить из комнаты и вечно быть окруженным прислугой? Если несчастный сделает один шаг, если он опустится одною ступенью ниже, он пропал. Это значит не приучать ребенка переносить горе, а развивать его восприимчивость к горю.

Недостаточно заботиться о сохранении своего ребенка; нужно научить его само сохраняться, переносить удары судьбы, презирать роскошь и нищету, жить, если понадобится, в снегах Исландии и на раскаленных утесах Мальты. Как бы ни предохраняли вы его от смерти, ему все-таки надо умереть; и если заботы ваши не сделаются причиной его смерти, они будут, тем не менее, неуместны. Самое важное – научить жить. Жить же не значит дышать, а действовать; это значит пользоваться органами, чувствами, способностями, всеми частями нашего существа. Не тот человек дольше жил, который может насчитать больше годов жизни, а тот, который больше чувствовал жизнь.

Вся наша житейская мудрость заключается в раболепных предрассудках; все наши обычаи не что иное, как повиновение, стеснение и насиливание. Человек рождается, живет и умирает в рабстве: при рождении, его затягивают свивальниками; после смерти, заколачивают в гроб; до тех пор, пока он сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями.

Говорят, многие повивальные бабки воображают, что, выправляя голову новорожденных детей, могут придать ей лучшую форму: и это терпится! Головы наши, видите ли, дурно устроены Творцом нашим: нужно их переделать с внешней стороны повивальным бабкам, с внутренней – философам.

«Едва только ребенок выходит из чрева матери и едва получает свободу двигать членами, как на него налагают новые оковы. Его упеленывают, кладут с неподвижною головою, вытянутыми ногами и руками. Он завернут в разного рода пеленки и свивальники, которые не позволяют ему переменить положения. Счастлив он, если его не затягивают до того, чтобы прекратить возможность дышать, и положат на бок, дабы мокроты, которые должны выходить ртом, могли стекать сами, собою, так как он не может свободно повернуть голову на бок, чтобы способствовать их стоку».³

Новорожденному ребенку необходимо протягивать члены и двигать ими, чтобы вывести их из онемения, в котором они находились так долго, оставаясь согнутыми. Их протяги-

³ «Hist. nat.», tome IV, page 190, in 12.

вают, правда, но мешают им двигаться; голову даже окутывают чепчиком: подумаешь, люди боятся, как бы ребенок не подал признака жизни.

Таким образом, полагается непреодолимая преграда движениям тела, стремящегося к росту. Ребенок непрерывно делает бесполезные усилия, истощающие его силы и задерживающие их рост. Он был менее стеснен и менее сдавлен до появления своего на свет.

Бездействие, принужденное состояние, в котором оставляют члены ребенка, только стесняет обращение крови и отделение слизи, мешает ребенку укрепляться, расти и уродует его телосложение. В тех местностях, где не принимают таких сумасбродных предосторожностей, люди все высоки, сильны, хорошо сложены. Страны, где пеленают детей, кишат горбатыми, хромыми, кривоногими, страждущими английскою болезнью и изуродованными различным образом. Из боязни, чтобы тело не повредилось от свободных движений, спешат изуродовать его, укладывая в тиски.

Может ли такое жестокое принуждение не действовать на нрав, также как и на темперамент? Первое ощущение детей – ощущение боли, страдания: все необходимые движения встречают одни только препятствия. Скованные хуже преступника, дети делают напрасные усилия, раздражаются, кричат. Вы говорите, что первый звук, издаваемый ими, плач? Да имея свободным один только голос, как же не воспользоваться им для жалоб? Они кричат от страдания, которое вы им причиняете: скомканные таким образом, вы бы кричали громче их.

Откуда явился такой безрассудный обычай? от неестественности жизни. С той поры, как матери, пренебрегая своей первой обязанностью, не захотели больше кормить детей, сделалось необходимым поручать их наемным женщинам, которые, очутившись, таким образом, матерями чужих детей, заботятся лишь об облегчении себе труда. За ребенком, оставленным на свободе, нужен непрерывный надзор: но когда ребенок крепко связан, его можно кинуть в угол, не обращая внимания на его крик. Не было бы только улик в небрежности кормилицы, не сломал бы только себе питомец ни рук, ни ног, а то велика, в самом деле, важность, что он останется уродом на всю жизнь! Между тем милые матери, которые, избавившись от своих детей, весело предаются городским развлечениям, не знают, какому обращению подвергается ребенок у кормилиц.

Говорят, что дети, оставленные на свободе, могут принять неловкое положение и делать движения, могущие повредить правильному развитию членов. Это – пустое утешение, которого опыт никогда не подтверждал. Между множеством детей, выкармливаемых у народов более рассудительных, чем мы, при полной свободе двигать членами, не замечается ни одного, который бы ранил, или искалечил себя: дети не в состоянии придать своим движениям силы, которая могла бы сделать эти движения опасными; а если ребенок принимает неестественное положение, то боль тотчас же заставляет его переменять такое положение.

Мы еще не пеленаем щенят и котят, а заметно ли, чтобы они испытывали какое-нибудь неудобство от этой небрежности? Ребенок тяжелее; согласен: но зато он и слабее. Он едва может двигаться; каким же образом искалечит он себя? Если его положить на спину, он умрет в этом положении, как черепаха, не будучи никогда в состоянии поворотиться.

Женщины, не довольствуясь тем, что перестали сами кормить детей, не хотят и производить их; а вместе с этим является желание делать бесполезную работу, для того, чтобы постоянно начинать ее сызнава. Таким образом стремление к размножению рода человеческого обращается в ущерб этому размножению.

Часто спорят о том, все ли равно для ребенка быть вскормленным молоком матери, или чужим. Я считаю этот вопрос, судьями которого должны быть медики, решенным по желанию женщин, и – что касается лично до меня – тоже думал бы, что лучше ребенку сосать молоко здоровой кормилицы, чем болезненной матери, если б для него могла существовать какая-либо новая опасность от крови, из которой он рожден.

Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической стороны? и разве ребенок меньше нуждается в заботах матери, нежели в ее молоке? Другая женщина, даже животное могут дать ему молоко, в котором отказывает ему мать; но заботливость материнская незаменима. Женщина, которая кормит чужого ребенка, вместо своего, дурная мать: как же может она быть хорошею кормилицею? Она могла бы сделаться ею, мало-помалу, но для этого нужно, чтобы привычка изменила природу; а ребенок, за которым дурной уход, успеет сто раз погибнуть прежде, нежели кормилица почувствует к нему материнскую нежность.

Необходимость разделить свои материнские права должна бы одна отнять решимость у всякой чувствительной женщины, дать кормить своего ребенка другой. Можно ли ей спокойно видеть, что ее ребенок любит другую женщину столько же, и даже больше, чем ее; чувствовать, что нежность к родной матери – милость, а нежность к подставной матери – долг?

Чтобы поправить эту беду, ребенку внушают презрение к кормилице, обращаясь с нею как со служанкой. Когда дело кормилицы окончено, ребенка отнимают от нее и стараются отбить у нее охоту навещать питомца. По прошествии нескольких лет, он ее больше не видит, не знает. Мать, надеющаяся заменить ее и жестокостью искупить свое невнимание, ошибается. Вместо того чтобы сделать нежного сына из бесчувственного питомца, она поощряет его к неблагодарности, научает точно так же презирать, со временем, ту, которая произвела его на свет, как и ту, которая выкормила его своим молоком.

Как бы настойчиво поговорил я об этом, если б не так грустно было тщетное доказывание самых понятных вещей. От этого вопроса зависит больше, нежели думают. Если хотите всех подвинуть на исполнение первейших обязанностей, начните с матерей: вас удивят перемены, произведенные вами. Все вытекает, постепенно, из этой основной развращенности: весь нравственный строй нарушается; естественные чувства потухают во всех сердцах; семьи принимают менее оживленный вид; трогательное зрелище возникающей семьи не привлекает более мужей, не внушает более уважения посторонним; привычка не скрепляет уз крови; нет более ни отцов, ни матерей, ни детей, ни братьев, ни сестер; все едва знакомы между собою: могут ли они любить друг друга? Каждый думает только о себе. Когда печальное уединение ждет дома, нужно же пойти повеселиться в другое место.

Но пусть только матери соблаговолят сами кормить детей, нравы изменятся сами собою, природные чувства проснутся во всех сердцах; населенность государства опять начнет увеличиваться. Прелесть семейной жизни – лучшее противоядие дурным нравам. Возня детей, которую считают докучливою, становится приятною. Она делает отца и мать более необходимыми, более дорогими друг другу. Когда семья оживлена, семейные заботы составляют самое дорогое занятие для жены и самое приятное развлечение для мужа. Пусть только женщины снова станут матерями, мужчины снова станут отцами и мужьями.

Напрасные речи! Женщины перестали быть матерями, и не хотят больше быть ими. Если б они даже захотели этого, то едва ли бы смогли; теперь, когда уже установился противный обычай, каждой пришлось бы бороться с противодействием всех остальных.

Иногда встречаются, впрочем, молодые женщины, которые, осмеливаясь презирать владычество обычая, с добродетельною отважностью выполняют сладкий долг, налагаемый на них природою. Дай Бог, чтобы число их увеличивалось, привлекаемое наградою, ожидающею тех, кто выполняет его! Основываясь на выводах, получаемых из самого простого рассуждения, и на наблюдениях, которым я не встречал опровержения, я смею обещать этим достойным матерям прочную и постоянную привязанность со стороны мужей, действительно сыновнюю нежность со стороны детей, уважение и почтение со стороны общества, счастливые роды, прочное и крепкое здоровье и, наконец, удовольствие видеть, со временем, что дочери следуют их примеру.

Нет матери, нет и ребенка. Между ними обязанности взаимные; и если одна сторона дурно выполняет эти обязанности, то другая будет так же ими пренебрегать. Ребенок должен любить мать, прежде чем сознает, что обязан любить ее. Если голос крови не подкрепляется привычкою и заботами, он заглушается в первых же годах, и сердце так сказать умирает прежде, нежели пробудится. Вот уже с первых шагов мы расходимся с природою.

С нею расходятся еще и другим, противоположным путем, когда вместо пренебрежения материнскими заботами, женщина доводит их до крайности; когда она делает из своего ребенка идола; когда она увеличивает и поддерживает в нем слабость, не желая дать ему чувствовать ее, а, надеясь изъять его из-под законов природы, удаляет от него тяжелые впечатления, не помышляя о том, сколько несчастий и опасностей готовит она ему в будущем, взамен некоторых неудобств, от которых избавляет на минуту, и какая варварская предосторожность длить детскую слабость до трудовой норы взрослых людей! Фетида, чтобы сделать своего сына неуязвимым, погрузила его в воды Стикса. Аллегория эта ясна и прекрасна. Но жестокие матери, о которых я говорю, поступают иначе: изнеживая детей своих, они тем самым готовят их к страданиям; они раскрывают все их поры к восприятию разного рода болезней, добычею которых дети непременно должны будут сделаться, когда вырастут.

Наблюдайте природу, и следуйте по пути, который она вам указывает. Она постоянно упражняет детей, укрепляет их темперамент испытаниями всякого рода; она рано дает им знать, что такое труд и боль. От зубов делается у них лихорадка; острые колики производят конвульсии; долгие кашли душат их; глисты мучат; различные худосочия бродят и производят опасные сыпи. Весь почти первый возраст проходит в болезнях: половина всех детей умирает до восьмилетнего возраста.

Вот правило природы. Зачем мешаете вы ей действовать? Разве вы не видите, что, думая поправлять природу, вы уничтожаете ее дело. Действовать извне так, как она действует внутри, значит, по-вашему, усилить опасность, а это, напротив того, значит уменьшить ее. Опыт показывает, что изнеженных, детей умирает еще больше, чем других. Если только не превышать меры детских сил, то меньше рискуешь употребляя в дело эти силы, нежели щадя их. Итак, приучайте детей к неудобствам, которые они должны будут, со временем, переносить. Сделайте их тело нечувствительным к переменчивости погоды, климатов, стихий, к голоду, к жажде, к усталости: окуните их в воды Стикса. Пока тело ни к чему не привыкло, его легко приучить к чему угодно, не подвергая опасности; но как только оно сформировалось, всякая перемена становится для него опасною. Фибры ребенка, мягкие и гибкие, без труда привыкают к чему угодно; фибры взрослого человека, более затверделые, могут только насильственно изменить свою привычку. Ребенка можно сделать крепким, не подвергая опасности его жизни и здоровья, а если б даже и был какой-нибудь риск, то все-таки не следует колебаться. Так как риск этот неразлучен с человеческою жизнью, то не лучше ли перенести его на то время жизни, когда он наименее опасен?

Вырастая, ребенок становится дороже. Жалко становится не только его самого, но и тех забот, которых он стоил. Следовательно, заботясь о его сохранении, нужно преимущественно думать о будущем. Если жизнь становится все дороже соразмерно с возрастом человека, то не безумие ли избавлять детство от некоторых зол, накапливая их к зрелой поре?

Участь человека – вечно страдать. Счастливо детство, знающее одни только физические боли! Боли эти несравненно менее жестоки, чем другие, и гораздо реже заставляют нас отказываться от жизни. От боли, производимой подагрой, не отваживаются на самоубийство: душевные боли одни порождают отчаяние. Мы жалеем о судьбе ребенка, а должны бы жалеть о своей судьбе. Мы сами порождаем величайшие бедствия свои.

Ребенок кричит при рождении; первая пора детства его проходит среди плача. Чтобы успокоить его и заставить замолчать, пускают в ход то качанье и ласки, то угрозы и побои. Мы или делаем то, что нравится ребенку, или требуем от него того, что нам нравится, –

средины нет: он должен или приказывать, или повиноваться. Поэтому первыми его идеями являются идеи господства и рабства. Не умея еще говорить, он уже приказывает; не будучи в состоянии действовать, он уже повинует; а иногда терпит наказание прежде, нежели мог узнать свою вину, и даже прежде, нежели мог провиниться. Этим путем зароняют в молодое сердце страсти, которые потом сваливают на природу, и, постаравшись сделать его злым, сетуют, что ребенок стал зол.

Шесть или семь лет проводит дитя таким образом в руках женщин, постоянно оставаясь жертвою их капризов и своих собственных. Память его обременяется бездною слов, которых он не в состоянии понять, и представлений о предметах, которые ему ни на что не годны. Заглушив в нем все природное посредством возбуждения страстей, искусственное создание это вручают воспитателю, доканчивающему развитие искусственных зародышей, которые он находит уже сформированными, и обучающему ребенка всему, кроме познания самого себя, умения извлекать удовольствие из самого себя, умения жить и быть счастливым. Наконец, когда этот ребенок, раб и тиран, исполненный знания и лишенный здравого смысла, одинаково расслабленный и телом и душою, является в свет и выказывает свою тупость, свое высокомерие и все свои пороки, люди начинают оплакивать человеческое ничтожество и испорченность. Это ошибка: человек этот создан нашей фантазией; естественный же человек совсем иной.

Если хотите сохранять в нем естественность, берегите ее с той минуты, как ребенок явится на свет; не покидайте его, пока он не вырастет: без того вы никогда не добьетесь успеха. Точно так, как настоящею кормилицей должна быть мать, настоящим воспитателем должен быть отец. Оба они должны условиться в порядке занятий, так же как и в системе. Из рук матери ребенок должен перейти в руки отца. Рассудительный, хотя и ограниченный, отец воспитает ребенка лучше, чем самый искусный наставник в мире: усердие успешнее заменит талант, нежели талант усердие.

А дела, служба, обязанности?.. Ах, да! Обязанности отца должны, вероятно, быть последними из всех обязанностей?

Когда читаешь у Плутарха, что цензор Катон, с такою славою управлявший Римом, сам воспитывал своего сына с колыбели и постоянно присутствовал, когда кормилица, т. е. мать, обмывала ребенка; когда читаешь у Светония, что Август, властитель вселенной, сам учил своих внуков писать, плавать, сообщал им элементарные научные сведения и непрерывно был с ними, то невольно смеешься над этими наивными чудаками. Надо полагать, что они занимались этим вздором только потому, что были слишком ограничены для занятий великими делами великих людей нашего времени.

Нечего дивиться, что мужчина, жена которого не захотела кормить плода их союза, не захочет воспитывать его. Если у матери не достанет здоровья, чтобы быть кормилицей, у отца окажется слишком много дел, чтобы быть воспитателем. Дети, удаленные, рассеянные по пансионам, монастырям и коллегиям, утратят привязанность к родительскому дому или, лучше сказать, приобретут привычку не чувствовать привязанности ни к чему. Братья и сестры будут едва знакомы между собою. Может быть, встретившись впоследствии, они будут весьма вежливы друг с другом; но как скоро нет близости между родными, как скоро общество семьи не составляет больше отрады жизни, так является развлечение развратом. Кто же настолько глуп, чтобы не видеть связи всего этого?

Производя и кормя детей, отец исполняет только треть своего долга. Он должен дать роду человеческому людей; он должен дать обществу надежных членов, он должен дать государству граждан. Всякий человек, который может уплатить этот тройной долг и не делает этого, виновен, и бывает, может быть, еще виновнее, если уплачивает его вполнину. Тот, кто не может выполнить обязанностей отца, не имеет права быть им. Никакая бедность, никакие занятия, никакое человеческое величие не избавляют его от обязанности кормить и

самому воспитать своих детей. Я предсказываю всякому, у кого есть сердце и кто пренебрегает этими святыми обязанностями, что он долго и горько будет оплакивать свою вину.

Но, что делает этот богач, этот отец, озабоченный делами и принужденный, но его словам, покинуть детей? Он платит другому, чтобы тот взял на себя заботы, которые самому ему в тягость. Продажная душа, неужели ты думаешь за деньги найти другого отца твоему сыну? Не обманывай себя; ты находишь для него даже не учителя, а только лакея, который скоро образует другого лакея.

Много рассуждают о качествах, необходимых для хорошего воспитателя. Первое, какого я потребовал бы от него, – а оно одно заставляет предполагать в нем множество других, – это не быть продажным. Есть такие благородные занятия, которым нельзя отдаваться за деньги, не выказывая себя, тем самым, недостойным их: таково занятие военного; таково занятие воспитателя. Кто же будет воспитывать моего ребенка? Я тебе уже сказал, что ты сам. Я не могу. Ты не можешь! Ну так приобрети себе друга. Другого средства я не вижу.

Чем больше думаешь о роли воспитателя, тем, больше видишь в ней новых трудностей. Ему следовало бы быть воспитанным для своего ученика, прислуге ребенка следовало бы быть воспитанною для своего господина, всем, кто приходит с ним в соприкосновение, быть исполненным именно тех впечатлений, которые они должны сообщить ему. Нужно было бы, восходя от воспитания к воспитанию, зайти Бог весть куда. Как может хорошо воспитать ребенка тот, кто сам не был хорошо воспитан?

Сыщется ли такой редкий смертный, какой нужен для роли воспитателя? Не знаю. Но предположим, что мы нашли это чудо. Рассмотрев то, что он должен делать, мы увидим, чем он должен быть. Я заранее, однако, предвижу, что отец, который поймет, что такое хороший воспитатель, решится обойтись без него: труднее было бы приобрести его, нежели самому им сделаться.

Не будучи способен выполнить самого полезного труда, я отваживаюсь решить более легкую задачу: по примеру многих других, я возьмусь не за дело, а за перо, и вместо того, чтобы сделать то, что нужно, постараюсь сказать это.

Я знаю, что при попытках, подобных моей, автору легко даются системы, которых он не обязан применять на практике, а потому он без труда выводит множество прекрасных правил, совершенно неприменимых к деду. За недостатком же подробностей и примеров, даже и то, что удобоисполнимо в его предложениях, остается бесполезным, если не показано применения к делу.

Поэтому, я решился заняться воображаемым воспитанником, предположив в себе возраст, здоровье, познания и все таланты нужные для воспитателя, – и вести его с самого рождения до той поры, когда он не будет более нуждаться ни в каком руководителе. Такая система предупреждает, кажется, блуждания в мире призраков: как только автор отступит от обыкновенного порядка, он может тотчас же испытать себя на своем воспитаннике; тут он скоро почувствует, или читатель почувствует за него, идет ли он вместе с развитием ребенка и по естественному, для человеческого сердца, пути.

Это-то я и старался делать при всех затруднительных случаях. Чтобы не увеличивать бесполезно объёма книги, я ограничился одним только изложением, когда дело шло о таких принципах, истина которых должна сознаваться каждым. Но что касается правил, требовавших доказательств, то я их все применил к моему Эмилю, или к другим примерам, и подробно показываю, каким образом то, что я излагаю, может быть применено на практике: по крайней мере, таков план, которым я задался. Об успехе же выполнения его предстоит теперь судить читателю.

Вследствие этого я сначала мало говорю об Эмиле, потому что первые мои правила воспитания, хотя и идут вразрез с теми, которые установились всюду, так ясны, что всякому благоразумному человеку трудно не принять их. Но по мере того, как я подвигаюсь вперед,

ученик мой, веденный иначе, чем ваши, отличается от обыкновенных детей; для него нужна особая система. Тогда он чаще является на сцену, а в последнее время я ни на минуту не теряю его из виду, до той поры, пока он уже вовсе не нуждается во мне.

Я не говорю здесь о качестве хорошего воспитателя; я их предполагаю известными, и самого себя предполагаю одаренным всеми этими качествами. Прочитав книгу, читатель увидит, как я щедр к самому себе.

Замечу только, что, вопреки общепринятому мнению, воспитатель ребенка должен быть молод и даже так молод, как только может быть разумный человек. Я желал бы, чтоб он сам был ребенком, чтоб он мог сделаться товарищем своего ученика и вызвать его доверие, разделяя его забавы. Между детством и зрелым возрастом слишком мало общего для того, чтобы при большой разнице в годах, могла когда-либо образоваться прочная привязанность. Дети льстят иногда старикам, но никогда не любят их.

Хотят, чтобы воспитатель уже проделал одно воспитание. Это – слишком большое требование; человек может окончить только одно воспитание. Если б для успеха дела необходимо было проделать два воспитания, по какому праву можно было бы взяться за первое?

Имея больше опытности, воспитатель сумел бы лучше действовать, но у него не хватило бы сил. Ито раз настолько хорошо исполнил эту роль, что почувствовал все ее трудности, тот не отважится вторично взяться за нее; а если он дурно исполнил ее в первый раз, то это дурное предзнаменование для второго.

Я сознаюсь, что следить за молодым человеком в течение четырех лет, или вести его в продолжение двадцати пяти – два дела совершенно различные. Вы поручаете воспитателю вашего сына, когда он уже вполне развит; я же хочу, чтоб он имел воспитателя еще до рождения. Ваш молодец может чрез каждое пятилетие менять воспитанников; мой же во всю жизнь будет иметь только одного. Вы отличаете учителя от воспитателя: новая глупость! Разве вы делаете различие между учеником и воспитанником? Детям нужно преподавать одну науку: науку об обязанностях человека; она неделима. Впрочем, преподавателя этой науки я скорее назвал бы воспитателем, нежели учителем, потому что ему следует больше руководить, нежели учить. Он не должен предписывать правил, а должен вести ребенка так, чтоб он сам находил их.

Если нужна такая заботливость для выбора воспитателя, то и ему должно быть позволено выбирать себе воспитанника, в особенности, когда дело идет об образце. Выбор этот не может касаться ни умственных способностей, ни характера ребенка, так как и то и другое узнается только по окончании дела, а я усыновляю ребенка еще до его рождения. Если б я мог выбирать, то выбрал бы не иначе как ребенка обыкновенного ума, такого, каким я себе представляю моего воспитанника. Воспитывать нужно только дюжинных людей; только их воспитание может служить образцом для воспитания им подобных. Другие же воспитываются помимо всяких образцов.

Географические условия имеют значительное влияние на развитие человечества; люди достигают всего, чего они могут достигнуть, только в умеренных климатах. Невыгодность слишком холодных или жарких климатов очевидна. Человек не растет, подобно дереву, в одной стране, чтобы всегда оставаться в ней; а тот, кто отправляется от одного конца земли к другому, подвергается двойным трудностям сравнительно с тем, кто отправляется к той же цели от середины. Француз живет и в Гвинее и в Лапландии; негр же не может жить даже и в Торнео, ни самоед на Бенинском берегу. Кроме того, кажется, что организация мозга менее совершенна у полюсов. Ни у негров, ни у лапландцев нет такого смысла, как у европейцев.⁴

⁴ Более точные данные по этому предположению Руссо читатель найдет, между прочим, у К. Фохта: «Человек и его место в природе», т. I, лекция III.

Поэтому, если я хочу, чтобы мой воспитанник был обитателем земли, я выберу его в умеренном поясе; во Франции, например, скорее, нежели в другой стране.

На севере люди иного потребляют на неблагоприятной почве; на юге они мало потребляют на плодородной почве. Отсюда прометает новая разница, которая делает одних трудолюбивыми, а других склонными к созерцательной жизни. В общественном устройстве мы встречаем образец этой разницы между бедными и богатыми. Первые живут на неблагоприятной почве, вторые – на плодородной.

Бедняк не нуждается в воспитании; ремесловое воспитание свое он получает поневоле, а другого у него быть не может; воспитание же, которым наделяет богатого человека его звание, менее пригодно как для него самого, так и для общества. К тому же, естественное воспитание должно делать человека способным ко всякого рода состояниям; а воспитывать бедняка для богатой жизни менее разумно, нежели воспитывать богача для бедной, потому что численное отношение этих двух состояний показывает, что разорившихся больше, чем обогатившихся. Изберем, следовательно, богатого; мы будем, во всяком случае, уверены, что образуем лишнего человека, между тем как бедняк может сделаться человеком сам собою.

По этой же самой причине, я не прочь, чтобы Эмиль был хорошего рода: все-таки лишняя жертва будет вырвана из рук предрассудков.

Эмиль – сирота. Все равно, есть ли у него отец и мать, или нет. Взяв на себя их обязанности, я наследую и все их права. Он должен уважать своих родителей, но слушаться должен меня одного. Это мое первое или, скорее, мое единственное условие.⁵

Я должен прибавить к нему еще следующее, которое не более как его следствие, – то, что нас никогда не разлучат иначе, как с нашего согласия. Это существенная статья, и я желал бы даже, чтобы воспитанник и воспитатель считал себя столь неразлучными, чтоб и судьба их имела для них всегда общий интерес. Как скоро они станут предвидеть разлуку, они начнут уже делаться чуждыми друг для друга; каждый станет строить свою маленькую систему особняком, и оба, занятые мыслью о времени, когда они расстанутся, будут неохотно оставаться друг с другом. Ученик станет смотреть на учителя как на вывеску и бич детства: учитель станет смотреть на ученика как на тяжелое бремя, от которого он жаждет освободиться; оба будут нетерпеливо ждать минуты избавления друг от друга, и у одного будет не доставать бдительности, а у другого – послушания.

Но когда они рассчитывают провести всю жизнь вместе, у них является потребность взаимной привязанности, они становятся дороги друг другу. Ученик не стыдится повиноваться в детстве другу, который останется с ним, когда он вырастет; воспитателя интересуют попечения, плодами которых он впоследствии воспользуется.

Трактат ваш предполагает непременно счастливые роды, ребенка, хорошо сложенного, крепкого и здорового. Для отца нет выбора, он не должен иметь любимцев в семье, которую ему дал Бог. Все дети – его; всем им обязан он выказывать одинаковую заботливость и одинаковую нежность. Будут ли они калеки или нет, болезненны или крепки, в каждом из них он обязан отдать отчет тому, от кого их получил, так как брак есть столько же договор с природою, сколько и между супругами.

Но тот, кто берет на себя обязанность, которой природа на него не налагала, должен сначала озаботиться о средствах выполнить ее; иначе он будет отвечать даже и за то, чего не в силах был выполнить. Тот, кто берет на свои руки слабого и хворого ребенка, меняет звание воспитателя на звание сиделки; он тратит на охранение бесполезной жизни время, которое назначал на увеличение ее ценности. Я поэтому не взял бы на свои руки болезненного и

⁵ Руссо не объясняет, как явится в ребенке (в особенности в этом случае) уважение и любовь к родителям, а между тем постоянно говорит об этих чувствах. Врожденными он их нигде прямо не признает; да чувство уважения нелегко было бы отнести к этому разряду.

худосочного ребенка, хотя бы ему предстояло прожить восемьдесят лет. Не надо мне воспитанника, который бесполезен и для себя и для других, озабочен одним только сохранением себя и тело которого мешало бы воспитанию души. Чего достиг бы я, расточая ему свои попеченья? Удвоил бы только потерю общества, отняв у него, вместо одного, двух людей. Пусть другой берет этого ребенка; я буду вполне уважать его человеколюбие. У меня же нет на это способностей; я не умею учить жизни того, кто постоянно думает только, как бы спасти себя от смерти.

Нужно, чтобы тело имело силы повиноваться душе. Чем оно слабее, тем сильнее власть его; чем оно крепче, тем послушнее. Чувственные страсти гнездятся всегда в расслабленных телах; невозможность удовлетворения этих страстей только сильнее раздражает их.

Расслабляя душу, хворое тело устанавливает, вместе с тем и владычество медицины, искусства более вредоносного для людей, чем все болезни, которые оно имеет претензию излечивать. Я не знаю, право, от каких болезней излечивают нас медики, но знаю, что они наделяют нас самыми пагубными болезнями: подлостью, трусостью, легковерием, боязнью смерти. Какое нам дело, что они поднимают на ноги трупы? Нам нужны люди, а их-то никогда и не выходит из рук медиков.

Медицина составляет развлечение для праздных людей, которые, не зная, куда девать время, проводят его в заботах о самосохранении. Имей они несчастье родиться бессмертными, они были бы самыми жалкими существами: жизнь, потеря которой никогда бы им не грозила, не имела бы никакой цены в их глазах. Этому народу нужны медики, которые стращают их и ежедневно доставляют им единственную радость, какую они способны ощущать, радость о том, что они не умерли.

Я вовсе не намерен распространяться здесь о бесполезности медицины. Я имею в виду рассмотреть ее только с нравственной стороны. Не могу, однако, не заметить, что люди в ней оказываются так же точно софистичны, как и в деле изыскания истины. Они всегда предполагают, что лечение больного вылечивает его, а изыскание истины открывает ее. Они не видят, что излечение одного больного перевешивается смертью ста других, убитых медиков, а польза открытия одной истины перевешивается заблуждениями, которые являются вместе с нею. Наука, которая научает, и медицина, которая, вылечивает, без сомнения, очень хороши: но наука, которая обманывает, и медицина, которая убивает, дурны. Научитесь же различать их. В этом вся сущность вопроса. Умей мы игнорировать истину, мы никогда не были бы обмануты ложью; умей мы воздерживаться от желания вылечиваться вопреки природе, мы никогда не умерли бы от рук медика. И в том и в другом случае мы были бы в выигрыше. Я не спорю, следовательно, что медицина полезна некоторым людям, но говорю, что она пагубна для рода человеческого.

Мне скажут, как всегда говорят, что в ошибках виноват медик, но что медицина сама по себе непогрешима. Ну, так и давайте нам ее без медика; потому что пока искусство это является вместе со своим представителем, приходится в сто раз больше страшиться ошибок последнего, нежели надеяться на помощь первого.⁶

Это лживое искусство одинаково бесполезно для всех: оно скорее пугает нас болезнями, нежели излечивает от них, скорее заранее дает нам чувствовать смерть, нежели отдалит ее. Если ему и удастся продлить жизнь, то это делается ко вреду рода человеческого, потому что заботы, предписываемые медициной, отнимают нас у общества, и страх, возбуждаемый ею, отвлекает от обязанностей. Только сознание опасностей заставляет бояться их; тот, кто считал бы себя неуязвимым, ничего не боялся бы. Если хотите видеть действительно

⁶ Бернард де С.-Пьерр (в предисловии к *Arcadie*, прим. 8-е) говорит, что Руссо предполагал, в новом издании своих сочинений, смягчить все, что написал о медиках, так как он убедился, что они повсюду отличаются обширностью своих познаний.

мужественных людей, ищите их там, где нет медиков, где неизвестны следствия болезней и где вовсе не думают о смерти. От природы, человек умеет и страдать терпеливо, и умирать спокойно. Только медики со своими рецептами, философы со своими наставлениями, да духовники со своими разглагольствованиями, убивают в нем мужество и отучают его умирать.

Пусть же дадут мне воспитанника, который бы не нуждался в этих людях, или я от него отказываюсь. Я не хочу, чтобы другие портили мое дело; я хочу или воспитывать его один, или вовсе не вмешиваться в его воспитание. Локк, который часть жизни своей провел в изучении медицины, настоятельно советует никогда не пичкать лекарствами детей, ни из предосторожности, ни в легких болезненных припадках. Я иду далее, и говорю, что, не обращаясь никогда к медику сам, никогда не позову его и для моего Эмиля, исключая разве случая, когда жизнь его будет в явной опасности: шансы смерти делаются для него тогда одинаковы.

За неумением вылечиваться, пусть ребенок научится быть больным: это искусство пополняет первое и часто оказывается гораздо полезнее. Больное животное страдает молча и спокойно: между тем не заметно, чтобы болезненных животных было больше, чем болезненных людей. Скольких людей убило нетерпение, боязнь, беспокойства и в особенности лекарства, – людей, которых бы болезнь пощадила, а время вылечило! Мне скажут, что животные, ведя образ жизни более естественный, должны испытывать меньше страданий, чем мы? Да к этому-то образу жизни я именно и желаю приучить моего воспитанника.

Единственная полезная часть медицины – гигиена; да и та не столько наука, сколько добродетель. Воздержность и труд – лучшие врачи человека; труд возбуждает аппетит, а воздержность удерживает от злоупотребления им.

Чтобы знать, какой образ жизни наиболее пригоден, нужно наблюдать за образом жизни тех народов, которые пользуются лучшим здоровьем, большей силой и большей продолжительностью жизни. Если наблюдения покажут, что медицина не дает людям ни лучшего здоровья, ни более долгой жизни, то искусство это, вследствие бесполезности своей, становится вредным, потому что напрасно занимает время людей. Время, которое тратится на сохранение жизни и, следовательно, потеряно для пользования ею, нужно вычеркнуть из жизни, но если это время проходит для нас в муках, то оно становится уже отрицательной величиной, которую нужно вычесть из остального.

Вот причины, по которым я желаю крепкого и здорового воспитанника, и начала, которым буду следовать для поддержания его в этом состоянии. Я не буду долго останавливаться на доказательстве полезности телесных упражнений для укрепления темперамента и здоровья; этого никто не оспаривает. Я не буду также входить в подробности о моих попечениях по этому предмету. Мы увидим, что поведения эти так необходимо связаны с моим делом, что достаточно вникнуть в дух его, чтобы не нуждаться в дальнейших объяснениях.

Вместе с жизнью являются и потребности. Новорожденному нужна кормилица. Если мать согласится исполнять свой долг, прекрасно: ей дадут письменное наставление. Но это имеет и свою невыгодную сторону, в том, что воспитатель несколько удаляется от воспитанника. Надо надеяться, однако, что выгоды ребенка и уважение к тому, кому мать намеревается поручить дорогой залог, сделают ее внимательною к советам наставника; и можно быть уверенным, что все, что она захочет сделать, она сделает лучше всякой другой. Если окажется нужною кормилица, постараемся сделать хороший выбор.

Одно из несчастий богатых людей заключается в том, что их всюду обманывают. Можно ли удивляться, что они дурного мнения о людях? Их портит богатство; и они же первые испытывают дурные стороны этого единственного, знакомого им орудия. Все у них исполняется дурно, кроме того, что они делают сами, а сами они почти ничего не делают. Если нужно найти кормилицу, выбор поручается акушеру. Что же из этого выходит? Что лучшею оказывается та, которая больше заплатила ему. Поэтому, я не отправлюсь к акушеру

за советом о кормилице для моего Эмиля, а постараюсь сам выбрать ее. Быть может, я не сумею так речисто рассуждать об этом предмете, как хирург, но буду, наверное, добросовестнее, и усердие мое меньше обманет меня, нежели его жадность.

Выбор этот не имеет ничего таинственного; правила для него известны: но, я не знаю, не лучше ли было бы обращать побольше внимания на молодость молока. Молодое молоко совершенно водянисто; оно должно быть почти слабительным, чтобы прочистить остатки *месоніум*, сгустившегося в кишках новорожденного ребенка. Мало-помалу, молоко становится гуще и доставляет более питательную пищу ребенку, получающему силы переваривать ее. Недаром природа изменяет густоту молока у самок, сообразно возрасту питомца.

Итак, для новорожденного ребенка нужна кормилица с новым молоком. Она должна быть так же здорова душою, как и телом: волнения страстей могут испортить ее молоко; к тому же, заботиться единственно о физических условиях значит видеть только одну сторону дела. Молоко может быть хорошо, но кормилица дурна; хороший характер такая же существенная вещь, как и хороший темперамент. Если взять порочную женщину, то питомец ее, — не говорю, заразится ее недостатками, — но будет страдать от них. Не обязуется ли она вместе с молоком давать ему и уход, требующий усердия, терпения, кротости, опрятности? Если она жадна и невоздержная, то скоро испортит свое молоко; если она нерадива или вспыльчива, то что будет с предоставленным ей ребенком, который не может ни защищаться, ни жаловаться?

Выбор кормилицы тем важнее, что у питомца не должно бы быть другой воспитательницы, как не должно быть другого учителя, кроме воспитателя. Таков был обычай у древних, более мудрых и меньше умствовавших, чем мы. Выкормив девочку, кормилицы не покидали ее больше. Вот почему в древних театральных пьесах большинство наперсниц — кормилицы. Невозможно, чтобы ребенок, переходящий постепенно столько различных рук, был хорошо воспитан. При всякой перемене, он делает втайне сравнения, всегда порождающие в нем уменьшение уважения к его руководителям, а следовательно уменьшение их власти над ним. Если в нем зародится мысль, что есть взрослые, которые так же неразумны, как и дети, весь авторитет лет падает, и воспитание не может быть удачно. У ребенка не должно быть никакого авторитета, кроме авторитета отца и матери, или их кормилицы и воспитателя. Даже и из этих двух лиц одно лишнее; но такое разделение неизбежно и единственный способ помочь делу состоит в том, чтобы оба лица, руководящие ребенком, так сходились во мнениях своих о нем, что составляли бы для него одно лицо.

Кормилице нужна спокойная жизнь и питательная пища, но не следует ей совершенно изменять прежнего образа жизни, потому что всякая быстрая и резкая перемена, даже от худшего к лучшему, всегда опасна для здоровья, а так как прежний образ жизни дал ей и здоровье и хорошее сложение,⁷ то к чему же изменять его?

Деревенские женщины едят меньше говядины и больше овощей, нежели городские, и эта растительная пища, кажется, скорее благоприятна, нежели неблагоприятна, и для них, и для детей их. Как скоро такой женщине поручают питомца из высшего сословия, ее начинают кормить говяжьим супом в уверенности, что суп и бульон более питательны и увеличивают количество молока. Я вовсе не согласен с этим, и за меня говорит опыт, показывающий, что дети, которых кормят таким образом, более подвержены коликам и глистам, нежели другие.⁸

⁷ Под хорошим сложением не должно понимать непременно крупные и круглые формы. Некоторые врачи признают худощавое, но ширококостное, телосложение, напоминающее сложение хорошей козы, самым лучшим для кормилицы. Подобные организмы часто усерднее работают над образованием молока, нежели так называемые роскошные, деятельность которых поглощается почти исключительно собственным телом.

⁸ Почти все, что говорит здесь Руссо по вопросам Физиологической химии, ошибочно. Иначе и быть не могло: он никогда не занимался естественными науками, да и современное ему состояние этих наук было слишком низко, чтобы

Это нисколько не удивительно, ибо животное вещество, когда разлагается, кишит червями, чего не бывает с веществом растительным. Молоко, хотя и вырабатывается в теле животного, есть вещество растительное; анализ доказывает это; оно легко скисается и не только не дает, как животные вещества, никакого следа летучей щелочи, но дает, как растения, нейтральную соль.

Женщины едят хлеб, овощи, молочное; самки собак и кошек едят то же самое; волчицы едят даже траву. Вот растительные соки для их молока. Не исследованным остается только молоко тех пород, которые питаются исключительно одним мясом – если только есть таковые, в чем я сомневаюсь.

Молоко травоядных самок слаще и здоровее, чем молоко плотоядных. Состоя из веществ, однородных с ним, оно лучше сохраняет свой характер и менее способно разлагаться. Касательно же количества, всякий знает, что мучная пища дает больше крови, нежели мясная; она должна, следовательно, давать также и больше молока. Мне не верится, чтобы ребенок, которого не слишком рано отняли от груди, кормили, отняв от груди, только растительную пищей, и кормилица которого точно также питалась только растительной пищей, – чтобы такой ребенок когда-нибудь страдал от глистов.

Возможно, что растительная пища дает молоко, более способное киснуть; но я вовсе не смотрю на кислое молоко как на нездоровую пищу: целые народы, не употребляющие другого, ни мало от него не страдают, а все это пародирование веществами, поглощающими кислоту, кажется мне чистым шарлатанством. Есть натуры, для которых молоко не годится, и никакое поглощающее кислоту вещество не может сделать его сносным; другие переносят его без всяких вспомогательных веществ. Бояться кислого молока глупо, так как известно, что молоко всегда скисается в желудке. Это-то и делает его питательным: если б оно не скисалось, то только проходило бы в желудке, не питая его. Сколько ни разбавляй молоко, и какие ни употребляй поглощающие кислоту вещества, тем не менее тот, кто употребляет в пищу молоко, переваривает творог. Этому нет исключений. Желудок так хорошо способствует скисанию молока, что сывороточная закваска делается помощью телячьего желудка.

Итак, по-моему, следует не изменять обычной пищи кормилицы, а только давать ей эту пищу в большем количестве и лучшего качества. Постная пища горячительная не по своему содержанию, а по приправам своим. Измените правила вашей кухни, не употребляйте больше поджаренного масла; пусть масло, соль и все молочное не проходит чрез огонь; варите овощи в воде и приправляйте их тогда, когда они, горячие, поданы на стол, – постное не только не будет горячить кормилицы, но даст ей молоко в изобилии и самого лучшего качества.⁹

Воздух особенно влияет на сложение детей, в первые года их жизни. В нежную и мягкую кожу, он проникает чрез все поры и сильно действует на молодые организмы. Он производит на них впечатления, которые никогда не изглаживаются. Поэтому, я вовсе не того мнения, чтобы крестьянку брать из деревни и запирать в городскую комнату; по мне гораздо лучше ребенка отправить дышать свежим, деревенским воздухом, вместо испорченного, городского. Он свыкнется с положением своей новой матери, будет жить в ее деревенском жилище, а воспитатель последует за ним. (Читатель помнит, что этот воспитатель не нанят за деньги, а что он друг отца.)

Людам не предназначено скупиваться, как в муравейниках, но быть рассеянными по земле, которую они должны возделывать. Чем больше собирается людей в одном месте, тем сильнее их порча. Телесные немощи и пороки души составляют неизбежное следствие

положения, высказывавшиеся тогда, могли сохранить свою цену до настоящего времени. Опровергать его в частностях бесполезно, так как в большинстве случаев самая основа воззрений ложна. Лицам, желающим ознакомиться с современным состоянием дела, можно указать на книгу Молкшотта: «Учение пищи» и Рекламу: «Питание и выбор пищи».

⁹ О содержании кормилицы и ребенка см. примечание В в конце книги.

слишком большого скопления людей в городе. В несколько поколений племя погибает или вырождается; ему нужно постоянное обновление, а обновление это дают села. Посылайте же своих детей обновляться и восстанавливать, среди полей, силы, утраченные во вредной атмосфере. Беременные женщины, живущие в деревнях, спешат возвратиться, ко времени родов, в город: они должны были бы поступать наоборот, в особенности те, которые хотят сами кормить своих детей. Им не пришлось бы сожалеть об этом, а при более естественной обстановке жизни удовольствия, связанные с обязанностями, налагаемыми природою, скоро отняли бы охоту к другим удовольствиям.

Тотчас после родов ребенка обмывают теплою водою, к которой обыкновенно при-мешивают вина. Прибавление вина кажется мне совершенно ненужным: природа ничего не производит в состоянии брожения, и поэтому невероятно, чтобы употребление искус-ственной жидкости было необходимо для жизни ее созданий. По этой же причине предо-сторожность нагревания воды вовсе не необходима; и действительно множество народов моет новорожденных детей просто в реке или в море; наши же дети, изнеженные еще до рождения, вялостью отцов и матерей, рождаются уже с испорченным темпераментом, которого нельзя сразу подвергать испытаниям. Надо стараться вдоволь возратить им естественную крепость. Итак, сначала держитесь принятого обычая и уклоняйтесь от него только мало-помалу. Мойте чаще детей; их неопрятность показывает, что это необходимо: простое ути-рание дерет их кожу. Но по мере увеличения сил ребенка, понижайте постепенно темпера-туру воды, пока не дойдете до холодной и даже до ледяной. Так как, во избежание опасно-сти, охлаждение это должно быть медленно, постепенно и нечувствительно, то для большей точности можно употреблять термометр.

Раз установившаяся привычка мыться не должна нарушаться; я считаю ее важною не только со стороны опрятности и здоровья, но и как полезную меру для развития гибкости фибр и для придания им привычки переносить различные степени жара и холода. С этою целью, следовало бы приучаться мало-помалу к купаньям в теплой воде всех градусов, какие можно перенести, так же как и в холодной воде всех возможных градусов. Таким образом, приучив себя переносить различную температуру воды, которая, как более плотная жид-кость, имеет больше точек соприкосновения с нашим телом, можно сделаться почти нечув-ствительным во всем изменениям температуры воздуха.

Не допускайте, чтобы новорожденного ребенка, только что покинувшего своя обо-лочки и начавшего дышать, снова завертывали и стесняли. Долой чепчики, долой свиваль-ники; заверните его в широкие пеленки, так чтоб всем его членам было просторно; пеленки не должны быть ни слишком тяжелы и стеснять его движений, ни слишком теплы и препят-ствовать доступу воздуха. (Воспитатели, кажется, еще не постигли, что холодный воздух не только не вреден, но укрепителен, а теплый расслабляет и производит лихорадку.) Положите, затем, ребенка в просторную колыбель (я употребляю это слово за неимением другого, но убежден, что никогда не следует качать детей), тщательно обитую внутри, так, чтоб он мог свободно и безопасно двигаться. Когда он начнет крепнуть, пустите его ползать по комнате; дайте ему развивать, протягивать свои маленькие члены; вы увидите, что они будут укреп-ляться с каждым днем.

Надо в этом случае вперед приготовиться к сильному сопротивлению со стороны кор-милицы, которой гораздо меньше дела со спеленатым ребенком, нежели с таким, за которым нужен постоянный надзор. К тому же, неопрятность ребенка заметнее в открытой одежде; его нужно чаще обмывать. Наконец, и обычай не всегда можно осилить. Не рассуждайте поэтому с кормилицами; приказывайте, наблюдайте за исполнением и ничего не щадите для облегчения ей забот, предписываемых вами. Воспитатель учится у первого наставника ребенка – у природы, и не допускает препятствий ее попечениям. Он следит за питомцем и бдительно подстерегает первые проблески его слабого понимания.

Мы родимся ничего не зная и ничего не понимая. Душа, скованная несовершенными и наполовину сформированными органами, не имеет еще сознания о своем собственном существовании. Движения, крики новорожденного ребенка, суть чисто-механические проявления, лишённые сознания и воли. Но вместе с рождением начинается и воспитание ребенка; прежде чем начать говорить, прежде чем начать слышать, он уже учится. Опыт предупреждает уроки; в тот момент, когда он узнает свою кормилицу, он уже многому научился. Мы удивились бы обширности познаний самого невежественного человеку, если б следили за его развитием с минуты рождения. Если б все человеческое знание разделить на две части: одну общую всем людям, другую принадлежащую только ученым, последняя показалась бы весьма ничтожною сравнительно с первой. Но мы вовсе не думаем о приобретении общих понятий, потому что оно делается бессознательно и даже прежде достижения разумных лет.

Животные точно так же многое приобретают. У них есть чувства; нужно научиться употреблять в дело эти чувства. У них есть потребности; нужно научиться удовлетворять им; нужно научиться есть, ходить, летать. Четвероногие, становящиеся на ноги с самого рождения, несмотря на то, не умеют ходить; по первым их шагам видно, что это не твердые попытки. Птицы, вылетающие из клетки, не умеют летать, потому что никогда не летали. Все служит наукою живым и чувствующим существам.

Первые ощущения детей чисто страдательные; они замечают только удовольствие или боль. Так как ребенок не в состоянии ни ходить, ни осязать, то ему нужно много времени для приобретения представляющих ощущений, которые показывают ему предметы вне их самих. Но, прежде чем эти предметы начнут так сказать удаляться от глаз и получают размеры и образы, постоянство страдательных ощущений начинает подчинять ребенка владычеству привычки; глаза его беспрестанно ищут света, и если свет падает сбоку, то они нечувствительно принимают это направление, так что нужно стараться всегда держать ребенка лицом к свету, из опасения сделать его косым. Нужно также с ранних пор приучать его к потемкам, иначе он будет постоянно плакать при отсутствии света. Слишком аккуратно распределяемые пища и сон становятся необходимыми ребенку в известные, определенные часы, и позыв к ним рождается скоро уже не от потребности, а от привычки, или скорее привычка прибавляет к естественным потребностям новую. Это необходимо предупреждать.

Единственная привычка, которую надо развить в ребенке, есть отсутствие всяких привычек. Не носите его на одной руке чаще, чем на другой, не приучайте его подавать одну какую-нибудь руку, или чаще употреблять ее в дело, не приучайте его есть, спать и двигаться в одни и те же часы, не уметь переносить одиночества ни днем, ни ночью. Исподоволь подготавливайте его к свободе и к пользованию всеми его силами, приучая его владеть собою и во всем исполнять свою волю, как скоро она у него явится.

Как только ребенок начинает различать предметы, нужно с выбором показывать их ему. Очень естественно, что все новые предметы интересуют человека. Он чувствует себя столь слабым, что боится всего незнакомого: привычка безнаказанно видеть новые предметы уничтожает в нем эту боязнь. Дети, воспитанные в домах, где соблюдается чистота, боятся например пауков, и эта боязнь нередко остается у них на всю жизнь. Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из крестьян боялся пауков.

Как же не начинать воспитание ребенка еще прежде, нежели он научится говорить и понимать, если уже от одного выбора предметов, которые ему показывают, зависит развитие в нем боязливости или мужества? Я хочу, чтобы его приучали к незнакомым предметам, некрасивым, отвратительным, к странным животным, – и все это мало-помалу, исподоволь, пока он не привыкнет к ним и, видя как другие берут их в руки, не начнет, наконец, сам брать их. Если в детстве он без боязни глядел на жаб, змей, раков, то впоследствии будет без отвращения смотреть на какое угодно животное. Страшных предметов не существует для того, кто видит их каждый день.

Все дети боятся масок. Я начну с того, что покажу Эмилю красивую маску; затем кто-нибудь при нем наденет эту маску на лицо: я засмеюсь; все станут смеяться, и ребенок засмеется вместе со всеми. Мало-помалу, я приучу его к менее красивым маскам, а, наконец, и к отвратительным. Если я хорошо наблюдал градацию, он не только не испугается последней маски, но будет смеяться над нею, как над первой. После того он уже не испугается маски.

Если нужно приучить Эмиля к звуку огнестрельного оружия, я сначала сжигаю затравочный порох в пистолете. Эта внезапная вспышка веселит его; я повторяю то же самое с большим количеством пороха; мало-помалу я прибавляю в пистолет небольшой заряд без пыжа, затем больший заряд; наконец, приучаю его к выстрелам из ружья, из мортир, из пушек, – к самой сильной пальбе.

Я замечал, что дети редко боятся грома, если только раскаты не совершенно невыносимы для органа слуха; боязнь эта является у них только тогда, когда они узнают, что гром ранит, а иногда и убивает. Когда разум начинает пугать их, устройте так, чтобы привычка ободряла их. Наблюдая медленную и искусную градацию, можно предупредить и в человеке и в ребенке всякую боязнь.

В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют, ребёнок обращает внимание только на то, что влияет в данную минуту на его чувства. Так как ощущения являются первым материалом его познаний, то возбуждать в нем ощущения, в приданом порядке значит подготовить его память к напоминанию о них, в таком же порядке, разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то сначала достаточно показать ему связь между этими ощущениями и самыми предметами, которые их производят. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она многому научает его. Этим путем приучается он ощущать теплоту, холод, твердость, мягкость, тяжесть и легкость тел; судить об их величине, виде и других внешних свойствах; судит он тут посредством зрения, осязания, слуха и, в особенности, посредством проверки зрения осязанием, т. е. посредством определения на взгляд того ощущения, которое предметы произвели бы на его пальцы. Обоняние развивается в детях позже всех других чувств: ранее двух-трех лет они кажутся нечувствительными к хорошему и дурному запаху. Они выказывают в этом отношении то же равнодушие, – или скорее нечувствительность – которое замечается во многих животных.

Мы только чрез движение узнаем, что есть вещи, которые не суть мы, и только чрез наше собственное движение получаем идею о расстоянии. Ребенок, именно потому, что лишен этой идеи, одинаково протягивает руку за близким и за далеким предметом. Усилие, которое он делает, кажется вам повелительным проявлением, приказанием предмету приблизиться, или вам – приблизить его; вовсе нет, оно доказывает только, что предметы кажутся ему под руками, а он не может себе представить недостижимого расстояния. Поэтому надо чаще носить гулять ребенка, переносить его с одного места на другое, и давать ему чувствовать перемену места, чтобы научить его судить о расстояниях. Как скоро он начнет сознавать их, нужно изменить методу и носить его только тогда, когда вам вздумается, а не тогда, когда он пожелает; потому что, как скоро чувство не обманывает его больше, усилие его происходит уже от другой причины. Эта перемена замечательна и требует пояснения.

Беспокойство от ощущения потребностей, когда, для удовлетворения их, нужна чужая помощь, выражается знаками: отсюда крики детей. Там как все ощущения у них страдательные, то, если эти ощущения приятны, дети наслаждаются ими молча; если же они неприятны, дети выражают это на своем языке и просят облегчения. Во время бодрствования дети почти не бывают в состоянии равнодушия; они или спят, или ощущают.

Все наши языки – произведения искусства. Долго искали, нет ли природного и общего всем людям языка; он, несомненно, есть: это тот язык, который употребляют дети прежде, нежели выучиваются говорить. Это язык без слов, но выразительный, звучный, понятный.

Мы его забыли; но станем изучать детей, и около них мы его скоро припомним. Учителями этого языка нам могут быть кормилицы; они понимают все, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними длинные разговоры, и хотя произносят слова, но слова эти совершенно излишни. Дети понимают не смысл слова, а выражение, с которым оно сказано.

К языку голоса присоединяется не менее энергический язык жеста. Этого жеста нужно искать не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как много выражения в этих, еще не вполне сформировавшихся физиономиях: черты их ежеминутно изменяются с непостижимою быстротой: вы видите, как улыбка, желание, страх появляются на их лицах и исчезают, подобно молнии; каждый раз вы как будто видите новое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но взамен того тусклые глаза их почти ничего не говорят. Таковы и должны быть внешние выражения в возрасте, когда знакомы только телесные нужды; в движениях мускулов лица выражаются ощущения, во взглядах – чувства.

Так как первое состояние человека – состояние беспомощности и слабости, то первыми звуками его бывают жалоба и плач. Ребенок чувствует нужды и не может им удовлетворить, – криками испрашивает он чужой помощи. Из этого плача, который казалось бы так мало заслуживает внимания, возникает первое отношение человека ко всему, что его окружает: здесь куется первое звено длинной цепи, из которой образуется общественный строй.

Когда ребенок плачет, он дает знать, что ему не по себе, что он испытывает какую-нибудь потребность, удовлетворить которой не может: мы разыскиваем, стараемся найти, какого рода эта потребность, и, найдя ее, удовлетворяем ей. Если мы не находим этой потребности или не можем удовлетворить ей, плач продолжается и начинает надоедать: ребенка ласкают, чтобы заставить замолчать, убаюкивают, чтобы заставить заснуть; если он упрямится, является раздражение и ребенку начинают грозить; грубые кормилицы бьют его иногда. Странные наставления на первый путь жизни!

Я никогда не забуду одного из таких беспокойных плакс, прибитого при мне кормилицей. Он тотчас же замолчал: я подумал, что он испугался. Вот будет раболепная душа, от которой, иначе как строгостью, ничего не добьешься, – подумал я. Я ошибся: несчастный задыхался от гнева, у него захватило дыхание; я видел, как он посинел. Через минуту слышались пронзительные крики; вся злоба, ярость и отчаяние, на какие способен этот возраст, выражались в этих криках. Я боялся, чтобы он не умер от этого волнения. Если б я даже сомневался, что чувство справедливого и несправедливого прирожденно человеческому сердцу, один этот пример убедил бы меня. Я уверен, что горячий уголь, упавший случайно на руку этого ребенка, был бы ему менее чувствителен, чем удар, довольно слабый, но нанесенный с очевидным намерением оскорбить его.

Это расположение детей к вспыльчивости, досаде, гневу требует чрезвычайной осторожности. Боргаве полагает, что большая часть детских болезней принадлежит к разряду конвульсивных: так как голова пропорционально больше, а нервная система обширнее, чем у взрослых, то и способность раздражения сильнее. Старательно удаляйте от детей прислугу, которая их дразнит, сердит, раздражает; она для них во сто раз вреднее, чем суровость воздуха и погоды. Пока дети будут встречать сопротивление только в вещах, а не в воле, они не сделаются ни своенравными, ни злыми и будут здоровее. В этом заключается одна из причин, почему дети простолудинов, более свободные, более независимые, вообще не так болезненны, не так изнеженны, гораздо крепче, чем те, которых мечтают лучше воспитать помощью постоянных возражений на их желания. Надо, однако, помнить, что большая разница – повиноваться им и не дразнить их.

Первый плач детей выражает просьбу: при недостатке осторожности, просьбы детей скоро превращаются в приказания; сначала дети просят помощи, а потом заставляют себе повиноваться. Таким образом, слабость, внушающая им сначала чувство зависимости, порождает потом идею власти и господства; но так как не столько их потребности, сколько

наши услуги, возбуждают в них эту идею, то тут начинают уже проявляться нравственные действия, непосредственная причина которых лежит не в природе; и вот почему с самого первого возраста следует разбирать тайное намерение, внушающее ребенку жест или крик.

Когда ребенок протягивает руку, молча и с усилием, он думает достать предмет, потому что не оценивает расстояния: он заблуждается в этом случае. Но когда, протягивая руку, он жалуется и кричит, тогда он не обманывается относительно расстояния, а приказывает или предмету приблизиться, или вам принести его. В первом случае медленными шагами поднесите ребенка к предмету; во втором – не показывайте даже вида, что слышите крик: чем сильнее он будет, тем меньше должны вы его слушаться. С ранних пор, следует приучить ребенка не повелевать ни людям, потому что он им не господин, ни вещам, потому что они его не слышат. Таким образом, если ребенок желает какой-нибудь вещи, которую видит и которую хотят ему дать, лучше поднести ребенка к вещи, нежели вещь к ребенку: он извлекает из этого действия вывод, который свойствен его возрасту и которого иначе нет средств внушить ему.

Гоббс назвал злого человека сильным ребенком. Это совершенно ложно. Злость всегда порождается слабостью; ребенок только потому и зол, что слаб; сделайте его сильным, он будет добр: личность, которая могла бы всегда и все сделать, никогда не делала бы зла. Из всех атрибутов всемогущего Божества доброта есть такой атрибут, без которого нельзя себе представить Божество. Все народы, признававшие существование двух начал, всегда считали злое начало слабее доброго.

Один только разум научает нас распознавать добро и зло. Хотя совесть, благодаря которой мы любим одно и ненавидим другое, и не зависит от разума, но не может без него развиваться. До наступления разумных лет, мы делаем добро и зло, сами того не зная. Ребенку хочется взбудоражить все, что он видит; он ломает и бьет все, до чего может достать. Он хватается птицу, как схватил бы камень, и душит ее, не сознавая, что делает. Отчего это? Философия объясняет это врожденными пороками: надменностью, властолюбием, самолюбием, злостью человека; сознание своей слабости, могла бы она прибавить, делает ребенка жаждущим поступков, выражающих силу и доказывающих ему его собственное могущество. Но взгляните на дряхлого и немощного старика, которого круговорот человеческой жизни снова привел к слабости ребяческого возраста: он не только остается неподвижным и спокойным, но хочет еще, чтобы все было спокойно вокруг него. Малейшая перемена тревожит и беспокоит его. Каким же образом тоже бессилие, соединенное с теми же страстями, произвело бы столь различные действия в двух возрастах, если бы первоначальная причина не была различна? А в чем можно искать это различие причин, как не в физической организации двух индивидов? Деятельное начало, свойственное обоим, в одном развивается, а в другом потухает; один стремится к жизни, а другой к смерти. Ослабевающая деятельность сосредоточивается в сердце старика; у ребенка же она изобилует, выходит наружу; он чувствует в себе, так сказать, достаточно жизни, чтобы оживить все, что его окружает. Создает ли он или разрушает, все равно, – лишь бы изменялось состояние предметов: всякое изменение есть действие. Если у ребенка заметна по-видимому большая склонность к разрушению, так это происходит не от злости, а от того, что действие созидующее всегда медленно, а разрушающее, будучи быстрее, больше подходит к его живости.

Наделяя детей этим деятельным началом, Творец вселенной позаботился, чтобы оно не было слишком вредоносно, и отказал им в силе. Но, как скоро у детей является возможность смотреть на окружающих их людей как на оружие, употребление которого находится в их власти, они пользуются этим оружием для удовлетворения своим склонностям и возмещения своей слабости. Вот каким образом они становятся неугомонными, тиранами, надменными, злыми, неукротимыми. Свойства эти возбуждаются не прирожденным духом господства, а напротив сами возбуждают этот дух: потому-то не нужно долгого опыта, для того,

чтобы почувствовать, как приятно действовать чужими руками и, пошевелив языком, приводить в движение всю вселенную.

Вырастая, приобретаешь силы, становишься менее беспокойным, менее подвижным, углубляешься в самого себя. Душа и тело приходят, так сказать, в равновесие, а природа начинает требовать только то количество движения, какое необходимо для самосохранения. Но желание повелевать не замирает вместе с потребностью, которая его породила; власть будит самолюбие и льстит ему, а привычка подкрепляет его: прихоть сменяет таким образом потребность.

Раз нам известно основное начало, мы должны ясно видеть пункт, где покидается естественный путь: посмотрим же, что нужно сделать, чтобы удержаться на нем.

У детей нет не только избытка в силах, но нет даже достаточно сил для всего, чего от них требует природа; нужно, следовательно, предоставить им пользование всеми силами, которыми она их наделяет и которыми они не в состоянии злоупотреблять. Это – первое правило.

Во всем, что касается физических потребностей, им нужно помогать и вознаграждать то, чего им не хватает по части ума и силы. Это – второе правило.

Помогая им, нужно ограничиваться только действительно необходимым, не делая никаких уступок прихоти или беспричинному желанию: прихоти не будут их мучить, если их не возбудят в них, потому что они не прирождены ребенку. Это – третье правило.

Нужно заботливо изучать язык и знаки ребенка, чтобы в возрасте, когда он не умеет лгать, различать те желания, которые непосредственно внушены природою, от тех, которые навеяны прихотью. Это – четвертое правило.

Дух этих правил состоит в том, чтобы предоставлять детям побольше настоящей свободы и поменьше власти, предоставлять им побольше действовать самим и поменьше требовать действий от других. Таким образом, приучаясь с ранних пор ограничивать свои желания, сообразно своим силам, они не будут ощущать лишения в том, что находится вне их власти.

Вот новая и весьма важная причина предоставлять полнейшую свободу телу детей, заботясь только об устранении от них возможности падения и таких предметов, которыми они могли бы ушибиться.

Ребенок, члены которого свободны, будет неминуемо меньше плакать, чем ребенок, затянутый свивальниками. Ребенок, которому знакомы одни только физические потребности, плачет только тогда, когда страдает. Вам делается тотчас же известно, что он нуждается в помощи, и необходимо немедленно подать ему эту помощь. Но, если вы не можете облегчить страданий, оставайтесь в покое и не ласкайте его, с целью успокоить. Ваши ласки не ослабят его колик, а между тем ребенок будет помнить, что нужно сделать для того, чтобы его приласкали. Если он хоть один раз сумеет занять вас собою, когда захочет, он уже овладел вами и все пропало.

Менее стесненные в своих движениях дети будут меньше плакать; реже раздражаемые их плачем вы меньше станете мучиться, заставляя их молчать; реже слыша ласковые слова или угрозы, дети будут не так боязливы и не так упрямы, и скорее сохраняют свой природный нрав. Я вовсе не желаю, чтобы пренебрегали детьми; напротив того, следует предупреждать их нужды, а не ждать крикливых заявлений. Но я не хочу также, чтобы попечения о ребенке были бестолковы.

Продолжительный плач ребенка, который не спеленат, не болен и ни в чем не нуждается, проистекает от привычки и упрямства. Тут виновата не природа, а кормилица, которая не умеет переносить докучливости плача и не помышляет о том, что заставляя ребенка замолчать сегодня, подстрекает его еще сильнее плакать завтра. Единственный способ уничтожить или предупредить эту привычку состоит в том, чтобы не обращать на нее никакого

внимания. Даже и дети не любят трудиться даром. Они упорны в своих попытках, но если ваше постоянство пересилит их упорство, оно им надоедает, и они от него отказываются. Капризный плач можно, впрочем, прекратить, развлекая ребенка каким-нибудь красивым и бросающимся в глаза предметом. Большинство кормилиц отличается этим искусством, и если с разбором употреблять его, оно очень полезно. Но в высшей степени важно, чтобы ребенок не заметил намерения развлечь его и веселился не думая, что о нем заботятся: и в этом-то все кормилицы крайне неловки.

Детей слишком рано отнимают от груди. Время, когда их нужно отнимать от груди, указывается прорезыванием зубов, а это прорезывание вообще бывает трудно и болезненно. Инстинкт побуждает тогда ребенка брать в рот и жевать все, что он держит в руках. Давая ему вместо игрушек какое-нибудь твердое тело, думают облегчить операцию. Я полагаю, что это ошибка. Твердые тела, вместо того, чтобы размягчить десны, делают их затвердевшими, причиняют более трудное и болезненное прорезывание. Надо всегда брать за образец инстинкт. Видано ли, чтобы щенки точили свои молодые зубы о камни, железо и кости; они употребляют для этого кожу, лоскутья, мягкие вещества, которые зуб может укусить.

Теперь во всем отвыкли от простоты. Даже детям завели серебряные и золотые погремушки; надавали им ценных игрушек всякого рода. Прочь все это: маленькие ветки с фруктами и листьями, маковые головки, где гремят зерна, солодовый корень, который ребенок может сосать и жевать, будут забавлять его столько же, сколько и эти великолепные безделушки, и не будут приучать его к роскоши с самого рождения.

Дознано, что кисель не особенно здоровая пища. Кипяченое молоко и сырая мука засоряют кишки и не хороши для желудка. В киселе мука менее сварена, чем в хлебе, а кроме того она не бродила. Я предпочитаю хлебную похлебку, кашу из протертого риса. Если желают непременно делать мучной кисель, то следует первоначально обжечь муку. В Швейцарии делают из обожженной муки очень вкусный и здоровый суп. Говяжий бульон и суп тоже плохое кушанье, которое следует употреблять как можно реже. Нужно, чтобы дети рано приучились жевать; это самый верный способ облегчить прорезывание зубов и возбудить отделение слюны, которая, примешиваясь к пище, облегчает пищеварение.

Я давал бы им жевать сначала сухие фрукты, корочки. Я дал бы им вместо игрушек небольшие ломтики сухого хлеба, или сухари в роде пьемонтских *drisses*. Размягчая этот хлеб во рту, дети глотают его маленькими количествами, зубы прорезываются легче и ребенок отвыкает от груди, прежде нежели ожидают. У крестьян обыкновенно желудок очень хорош, а их этим-то путем и отнимают от груди.

Дети слышат говор с самого рождения. С ними говорят не только прежде, нежели они начнут понимать сказанное, но прежде, нежели могут передать слышанный голос. Оцепенелый орган их только мало-помалу начинает подражать звукам, которые слышит, и неизвестно даже, одинаково ли отчетливо передаются вначале эти звуки в их ушах, как и в наших. Я не против того, чтобы кормилица забавляла ребенка пением и веселыми, разнообразными звуками; но она не должна беспрерывно оглушать его потоком бесполезных слов, из которых он ровно ничего не понимает, кроме тона, каким они произносятся. Желательно, чтобы первые слога, долетающие до уха ребенка, были протяжны, легки, ясны, чтобы они часто повторялись и чтобы слова, выражаемые ими, касались только видимых предметов, которые можно показать ребенку. Несчастливая легкость, с какою мы удовлетворяемся словами, значения которых не понимаем, рождается раньше, чем мы думаем. Ученик в классе слушает разглагольствования учителя, также как в пеленках слушал болтовню кормилицы. Мне кажется, что весьма полезно было бы такое воспитание, при котором все это оставалось бы для него совершенно непонятным.

Идеи теснятся толпою, когда вздумаешь заняться образованием речи и первых разговоров детей. Что бы ни делали, а дети научатся говорить все-таки тем же путем, и все философские умозрения здесь совершенно бесполезны.

Во-первых, у них есть, так сказать, своя грамматика, синтаксис которой состоит из более общих правил, чем наш; и если б на него обращали больше внимания, то изумились бы точности, с какою дети держатся некоторых аналогий, весьма ошибочных, если хотите, но весьма последовательных и которые неприятны для уха только по своей резкости, да еще потому, что обычай их не допускает. Я слышал, как одного бедного ребенка разбранил отец за то, что тот сказал ему: *monpere, irai-je-t-y?* А между тем ребенок лучше следил за аналогией, чем наши составители грамматик: если ему говорят, отчего же ему не сказать, *irai-je-t-y?* Заметьте, кроме того, с какою ловкостью он обошел неприятное сочетание гласных в *irai-je-y*, ими *y irai-je?* Виноват ли бедный ребенок, если мы совсем некстати выбрасываем здесь определительное наречие *y*, потому что не можем сладить с ним? Старания исправлять в речи детей эти маленькие ошибки, от которых они со временем отучатся сами собою, — нестерпимое педанство и бесполезнейшее дело. Говорите всегда с детьми правильным языком, сделайте так, чтобы они предпочитали ваше общество всякому другому, и будьте уверены, что нечувствительно речь их станет такою же правильною, как и ваша, хотя бы вы никогда не поправляли их ошибок.

Но одним из более важных злоупотреблений и которое не так легко предупредить, является поспешность, с какою заставляют говорить детей; точно боятся, что они не научатся говорить сами собою. Эта неуместная поспешность производит действие совершенно обратное тому, какого от нее ожидают. Дети начинают от этого говорить позже и менее явственно: чрезвычайное внимание, с каким встречается их лепет, избавляет их от труда хорошо произносить слова и у многих на всю жизнь остаются дурное произношение и неясная речь.

Я много жил между крестьянами и никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них картавил. Отчего это происходит? Разве органы у крестьян устроены иначе, нежели у нас? Нет, эти органы иначе упражняются. Против моего окна есть холмик, на котором собираются, для игр, окрестные ребятишки. Хотя они играют на довольно большом расстоянии от меня, но я отлично слышу все, что они говорят, и часто приобретаю из их разговора хорошие материалы для этого сочинения. Каждый день ухо обманывает меня насчет их возраста; мне слышатся голоса десятилетних детей; взгляну, и вижу рост и черты трех или четырехлетних. Я не ограничивался собою, для этого опыта: городские жители, которые навещают меня, впадали в ту же самую ошибку. Разница в этом случае происходит от того, что городские дети, воспитываемые до пяти или шести лет в комнате и под крылышком гувернантки, должны только пробормотать, чтобы быть понятыми; едва они шевелят губами, как их уже стараются расслушать; им подсказывают слова, которые они плохо передают, а так как ребенка постоянно окружают одни и те же лица, то, вследствие напряженного внимания, они скорее отгадывают, нежели выслушивают, то, что он хотел сказать.

В деревне совсем иное дело. Крестьянка не вертится беспрестанно около своего ребенка: он принужден очень отчетливо и громко выговаривать то, что ему нужно сказать. В поле, дети, рассеянные, удаленные от отца, матери и других детей, изошряются говорить издали и соразмерять свой голос с расстоянием, отделяющим их от того, к кому они обращаются. Вот каким образом действительно научаются произношению, а не бормотаньем нескольких гласных на ухо внимательной гувернантки. Поэтому, когда мы обращаемся с вопросом к крестьянскому ребенку, стыд может помешать ему отвечать; но то, что ребенок скажет, он скажет отчетливо; между тем как для разговора с городским ребенком необходимо, чтобы нянька служила переводчиком.

Бывают, разумеется, исключения, и часто дети, которых сначала было наименее слышно, становятся потом, когда начнут возвышать голос, самыми шумливыми. Но если б

нужно было входить во все эти мелочи, то никогда конца не было бы; всякий благоразумный читатель должен понять, что излишек и недостаток, порождаемые одним и тем же источником, одинаково исправляются моею методою.

С летами дети должны бы исправляться от дурного выговора в учебных заведениях: и действительно воспитанники таких заведений говорят вообще явственнее, нежели дети, которые всегда воспитывались в родительском доме. Но им мешает приобрести такой же чистый выговор, как у крестьян, постоянная необходимость выучивать наизусть пропасть вещей; заушая урок, они привыкают бормотать, небрежно и дурно произносить снова; а когда приходится отвечать урок, они с усилием припоминают снова, растягивают слога, так как невозможно, чтобы язык не запинаясь, когда память изменяет. Таким образом, приобретаются или сохраняются недостатки в произношении. Ниже мы увидим, что у Эмиля не будет таких недостатков, а если они и будут, то по другим причинам.

Я согласен, что простой народ и поселяне впадают в другую крайность, что они почти всегда говорят громче, нежели следует, и привыкают к резкому и грубому произношению; что делают слишком сильные ударения на слова, дурно выбирают выражения и проч. Но, во-первых, эта крайность кажется мне гораздо менее порочною, чем другая, – так как первое условие речи – то, чтоб она была слышна. Лишать выговор ударения значит отнимать у фразы грацию и энергию. Ударение есть душа речи; оно придает ей чувство и правдивость. Ударение меньше лжет, чем слово; поэтому-то, может быть, благовоспитанные люди так и боятся его. Обычай незаметно трунить над людьми явился от обыкновения все говорить одним тоном. Изгнанному ударению наследовала притворная и подверженная влиянию моды манера произношения, особенно заметная у великосветской молодежи. Эта манера говорить и держать себя делает француза на первый взгляд отталкивающим и неприятным для других наций. Ударение в своей речи он заменяет тем, что называется тоном. Это плохой способ расположить людей в свою пользу.

Все небольшие недостатки, которых так боятся в детской речи, незначительны; устранить или исправить их очень легко: но недостатки, которыми их наделяют, приучая к глухой, невнятной, робкой речи, беспрерывно критикуя их интонацию и перебирая каждое их слово, никогда не исправляются. Человека, выучившегося говорить в спальне, плохо будет слышно во главе батальона и среди волнующейся толпы. Научите сначала детей говорить с мужчинами, а с женщинами они сами сумеют говорить, когда понадобится.

Вскормленный в деревне, среди сельской простоты, ребенок ваш приобретет звонкий голос; он не приучится там к невнятной бормотанью городских детей; он не переймет также им деревенских выражений, ни деревенского тона или, по крайней мере, легко от них отвыкнет, если наставник, с самого рождения живущий с ним и с каждым днем все менее и менее покидающий его, предупредит или исправит правильностью своей речи впечатление речи крестьянской. Эмиль будет говорить по-французски так же чисто, как и я, но он будет говорить гораздо внятнее и произносить слова гораздо лучше меня.

Ребенок, который начинает говорить, должен слышать только такие слова, которые может понять, а говорить только такие, которые может выговорить. Усилия, которые он делает при этом, побуждают его повторять один и тот же слог, как бы для того, чтоб привыкнуть произносить его. Когда он начинает лепетать, не ломайте головы над тем, чтобы отгадать, что он хочет сказать. Притязательность человека на то, чтоб его всегда выслушивали, есть также род власти; а ребенок не должен иметь никакой власти. Достаточно, если вы будете внимательны к настоящим нуждам его, а затем он сам должен стараться дать понять вам то, что не крайне необходимо. Тем менее следует торопиться в возбуждении детей к говору: ребенок сам сумеет говорить, когда почувствует в том необходимость.

Замечено, правда, что дети, которые начинают говорить очень поздно, никогда не говорят явственно, но они косноязычны не от того, что поздно заговорили, а наоборот загово-

рили поздно от того, что родились косноязычными. Иначе почему же они заговорили бы позднее других? Разве им представлялось меньше случаев говорить или их меньше принуждали к говору? Напротив, беспокойство, причиняемое этим замедлением, производит то, что их гораздо больше стараются заставить бормотать, нежели тех, которые заговорили раньше, а этой бестолковою поспешностью еще больше затрудняют речь, которую они успели бы может быть усовершенствовать.

Детям, которых торопят говорить, некогда приучиться ни к хорошему произношению, ни к ясному пониманию того, что им говорят: тогда как, если им предоставляют свободу, они сначала начинают с самых легких слогов, и мало-помалу, придавая им значение, которое объясняется их жестами, говорят вам свои слова, не слыхав еще ваших слов, которые перенимают не торопясь и только тогда, когда поймут их.

Самое большое зло, проистекающее от поспешности, с какою заставляют говорить детей, заключается не в том, что первые речи, которые им говорят, и первые слова, которые они произносят, не имеют для них никакого смысла, а в том, что дети придают этим речам и словам не тот смысл, какой мы им придаем, и что мы этого не замечаем; так что, отвечая нам, по-видимому, весьма точно, они говорят, не понимая нас, а мы слушаем, не понимая их. Подобные недоразумения порождают обыкновенно и изумление, в какое повергают нас иногда речи детей, которым мы приписываем идеи, каких сами дети вовсе им не придавали. Невнимание наше к настоящему смыслу, который слова имеют для детей, кажется мне причиною первых их ошибок, а эти ошибки, будучи даже исправлены впоследствии, оказывают влияние на склад их ума, которое не изглаживается во всю жизнь. Я буду не раз иметь случай разъяснить это примерами.

Итак, по возможности ограничивайте словарь ребенка. Весьма нехорошо, если у него больше слов, нежели идей, и если он может наговорить больше, нежели может обдумать. Я полагаю, что одна из причин, вследствие которых ум крестьян обыкновенно точнее ума городских жителей, — та, что словарь крестьян не так обширен. У них мало идей, но они хорошо их сопоставляют.

Все стороны в ребенке развиваются сначала почти разом. Он почти одновременно учится говорить, есть, ходить. Тут собственно начинается первая эпоха его жизни. До этой поры он оставался тем же, чем был в чреве матери: у него нет ни чувств, ни идей, едва-едва существуют у него ощущения; он не чувствует даже собственного существования:

Vivit, et est vitae nescius ipse suae.
Ovid., Trist., lib. I.

КНИГА ВТОРАЯ

Здесь начинается второй период жизни, когда собственно детству настает конец; ибо слова *infans* и *puer* вовсе не синонимы. Первое заключается во втором и означает того, кто не может говорить; вследствие чего у Валера Максима мы находим *puerum infantem*. Не я продолжаю употреблять слово *enfance*, сообразно обычаю нашего языка, до того возраста, для которого есть другие названия.

Когда дети начинают говорить, они меньше плачут: один язык заменяется другим. Как скоро ребенок может передать словами, что он страдает, зачем он станет передавать это криком, исключая разве случая такой сильной боли, которой словами выразить нельзя? Если дети продолжают тогда плакать, то это вина людей, окружающих их. Если ребенок слаб, чувствителен, если он кричит из-за пустяков, то, сделав эти крики недействительными, я скоро уничтожу их причину. Пока он плачет, я не иду к нему и подбегаю тотчас же, как он замолкнет. Скоро молчание или простая подача голоса будут его зовом. Дети судят о смысле знаков по их видимому действию; как бы ни ушибся ребенок, если он один, он редко заплачет, разве надеется, что его услышат. Если он упадет, наживет себе синяк, разобьет нос до крови или обрежет себе палец, вместо того, чтобы с испуганным видом засуетиться около него, я останусь спокойным, по крайней мере, некоторое время. Беда случилась, необходимо, чтоб он перенес ее; всякая суетливость может только больше напугать его и усилить в нем чувствительность. Когда ребенок ушибается, боль мучит меньше, чем страх. Я, по крайней мере, избавлю его от последнего страдания; потому что он непременно будет судить о своем страдании по моему суждению: если он увидит, что я с беспокойством бегу утешать его, сожалеть о нем, то сочтет себя погибшим; если же увидит, что я сохраняю все свое хладнокровие, то скоро ободрится сам. В этом-то возрасте и получают первые уроки мужества; без страха перенося легкую боль, научаются мало-помалу переносить сильнейшие.

Я не только не старался бы охранять Эмиля от ушибов, но напротив был бы очень недоволен, если б он никогда не ушибался и вырос не зная, что такое страдание. Страдать — первая вещь, которой он должен научиться и которая всего больше понадобится ему. Пока дети малы и слабы, они могут совершенно безопасно брать эти важные уроки. Если ребенок свалится с ног, он не переломит себе ноги; если ударит себя палкой, не переломит руки; если схватит острый нож, то не глубоко порежет себя. Я не слыхал, чтобы дети на свободе когда-либо убивались до смерти, искалечивали или сильно ранили себя, исключая разве случаев, что их неосторожно оставляли на возвышенном месте, около огня или с опасными инструментами в руках. Не нелепо ли, что вокруг ребенка устраивают целый арсенал разных орудий с целью оградить его с головы до ног от боли, так, что, сделавшись взрослым и не имея ни мужества, ни опытности, он при первой царапине считает себя умирающим и падает в обморок при виде первой капли своей крови?

Мы вечно силимся учить детей тому, чему они гораздо лучше научатся сами, а забываем о том, чему мы одни могли бы их научить. Есть ли что-нибудь глупее старания, к каким учат ходить ребенка, как будто видано, чтобы кто-нибудь, будучи взрослым, не умел ходить вследствие небрежности кормилицы. Напротив того, сколько мы видим людей, которые дурно ходят от того, что их дурно учили ходить!

У Эмиля не будет ни предохранительных шапочек, ни корзин на колесах, ни тележек, ни помочей; как скоро он научится передвигать ноги, его будут поддерживать только на мостовой, быстро минуя ее. Нет ничего смешнее и слабее как походка людей, которых в детстве долго водили на помочах; это опять одно из тех замечаний, которые становятся пошлыми вследствие своей верности и которые верны не в одном смысле. Вместо того чтобы давать ребенку засиживаться в испорченном комнатном воздухе, пусть его ежедневно пус-

кают в поле. Пусть он там бегает, резвится, падает сто раз в день: тем скорее научится он подниматься. Благодатное ощущение свободы выкупает много ран. Мой воспитанник будет часто ушибаться, но зато он будет всегда весел и, хотя ваши ушибаются реже, зато они всегда недовольны, всегда скованны, всегда грустны. Я сомневаюсь, чтобы выгода была на их стороне.

Другая сторона развития делает жалобы ребенка еще менее необходимыми для него: я подразумеваю увеличение сил. Получая возможность больше действовать сам, он меньше нуждается в чужой помощи. Вместе с силою развивается знание, которое дает ему средства управлять ею. В этом втором периоде начинается собственно жизнь индивида; тогда он начинает сознавать себя. Память распространяет чувство тожества на все моменты его существования; он в самом деле становится одним, все тем же, и поэтому способным ощущать радость и горе. Следовательно, теперь надо начать смотреть на него как на нравственное существо.

Хотя средний предел жизни человеческой, равно как и вероятность, которая имеется в каждом возрасте, достигнуть этого предела, определяются довольно точно; но нет ничего менее верного, как продолжительность жизни каждого человека в частности; весьма немногие достигают среднего предела. Наибольшим опасностям подвергается жизнь в самом начале; чем меньше жил человек, тем меньше представляется надежды жить. Едва половина всех рождающихся детей достигает отрочества, и есть вероятность, что воспитанник ваш не доживет до возмужалости.

Как же назвать варварское воспитание, которое настоящее приносит в жертву неверному будущему, налагает на ребенка всевозможные оковы и начинает с того, что делает его несчастным, с целью приготовить вдали какое-то воображаемое счастье, которым он вероятно никогда не воспользуется? Если б я даже считал это воспитание разумным по своей цели, то можно ли без негодования смотреть на несчастные жертвы, подчиненные нестерпимому игу и осужденные на каторжный труд, без уверенности, чтобы все эти заботы были когда-либо полезны им? Лета веселья проходят в слезах, наказаниях, в страхе и рабстве. Несчастливого мучат для его пользы и не видят смерти, которую призывают и которая поразит его в этой грустной обстановке. Кто знает, сколько детей погибает жертвою сумасбродной мудрости отца или наставника? Единственное благо, извлекаемое ими из вынесенных страданий, – смерть без сожалений о жизни, в которой они знали одну только муку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.